

<СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ>

БУДДИЗМ В НАУКЕ

Погубящий свою душу найдет ее.
Вера без дел мертва.

Наука, сказали мы прежде, провозгласила всеобщее примирение в сфере мышления, и жаждавшие примирения раздвоились: одни отвергли примирение науки, не обсудив его, другие приняли поверхностно и буквально; были и есть, само собою разумеется, истинно понявшие науку, — они составляют македонскую фалангу ее, о которой мы не предположили себе говорить в ряде этих статей. Потом мы сделали опыт взглянуть на *непримиримых* и видели, что по большей части им не позволяет больное и испорченное зрение туда смотреть, куда следует, так видеть, как совершается, так понимать, как сказано; личный недостаток в органах зрения переносится ими на зримое. Болезненность глаза не всегда свидетельствует о слабости его; иногда с нею вместе соединяется чрезвычайная сила, но отклоненная от естественного отправления своего. Теперь обратимся к *примиренным*. В их числе есть люди ненадежные, положившие оружие при первом выстреле, принявшие все условия с самоотвержением, приводящим в отчаяние, с подозрительной беспрекословностью. Мы их назвали мухаммеданами в науке, но не оставим при них этого названия, напоминающего пестрые и яркие картины Халифата и Алгамбры, их несравненно вернее можно назвать буддистами в науке¹. Постараемся высказать нашу мысль о них как мож-

¹ Буддисты принимают существование за истинное зло, ибо все существующее — призрак. Верховное бытие для них — пустота бесконечного пространства. Переходя из степени в степень, они

но яснее, без притязаний, простыми средствами разговорной речи.

Наука не только провозгласила, но и сдержала слово: она, действительно, достигла примирения в своей сфере. Она явилась тем вечным посредством, которое сознанием, мыслию снимает противоположности, примиряет их обличием их единства, примиряет их в себе и собою, сознанием себя правдой борющихся начал. Требование было бы безумно, если бы вменили ей в обязанность совершить что-нибудь вне своей сферы. Сфера науки — всеобщее, мысль, разум как самопознающий дух, и в ней она исполнила главную часть своего призвания — за остальную можно поручиться. Она поняла, сознала, развила истину разума как *предлежащей действительности*; она освободила мысль мира из события мира, освободила все сущее от случайности, распустила все твердое и неподвижное, прозрачным сделала темное, свет внесла в мрак, раскрыла вечное во временном, бесконечное в конечном и признала их необходимое сосуществование; наконец, она разрушила китайскую стену, делившую безусловное, истину от человека, и на развалинах ее водрузила знамя самозаконности разума. Останавливая человека на простом событии чувственной достоверности, начав с ним личные умствования, она развивает в нем родовую идею, всеобщий разум, освобожденный от личности. Она требует с самого начала жертвоприношения личности, заклятия сердца — это ее *conditio sine qua non*¹. И как бы это ужасно ни казалось, она права: у науки одна сфера всеобщего, мысли. Разум не знает личности этой; он знает одну необходимость личностей вообще; разум, как высшая справедливость, неллицеприятен. Оглашенный наукой должен пожертвовать своей личностью, должен ее понять не истинным, а случайным и, свергая ее со всеми частными убеждениями, взойти в храм науки. Этот искус для одних слишком труден, для других слишком легок. Мы видели, как дилетантам наука недоступна, оттого, что между ими и наукой стоит их личность; они ее удерживают трепетной рукой и не подходят близко к стремительному потоку ее, боясь, что быстрое движение

достигают высшего конечного блаженства несуществования, в котором находят полную свободу (Клапрот). Какое родственное сходство! (Прим. автора.)

¹ непеременимое условие (лат.).

воли унесет и утопит; а если и подходят, то забота само-сохранения не позволяет ничего видеть. Таким людям наука не может раскрыться оттого, что они ей не раскрываются. Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью все отдать и в награду получить тяжелый крест *трезвого знания*. Человек, который ничему не может распахнуть груди своей, жалок; ему не одна наука затворяет свою храмину; он не может быть ни глубоко религиозным, ни истинным художником, ни доблестным гражданином; ему не встретить ни глубокой симпатии друга, ни пламенного взгляда взаимной любви. Любовь и дружба — взаимное эхо: они дают столько, сколько берут. В противоположность этим скупцам и эгоистам нравственного мира есть моты и расточители, не ставящие ни во что ни себя, ни свое достояние; радостно бегут они к самоуничтожению во всем и при первом слове бросают и убеждения свои и свою личность, как черное белье. Но невеста, которой они искали, своенравна; она потому не хочет брать душу этих людей, что они легко отдают ее и не требуют назад, — напротив, довольны, что отделались от нее. Она права: хороша личность, которую бросают в окошко! Но как же быть? Погуби свою личность, а там — удерживай свою личность — логомахия новой каббалистики!

Личность погибла в науке; но не имеет ли личность, сверх призвания в сферу всеобщего, иного призвания, и если то призвание лично, то оно не может поглотиться наукой, именно потому, что она улетучивает личное, обобщая его. Процесс погубления личности в науке есть процесс становления — в сознательную, свободно разумную личность из непосредственно естественной; она приостановлена для того, чтоб вновь родиться. Ведь и парабола погибла в уравнении параболы, и цифра погибла в формуле. Алгебра — логика математики; алгоритм ее представляет всеобщие законы, результат и самое движение в родовом, вечном, безличном виде. Но парабола только *притаилась* в уравнении, не умерла в нем, так, как и цифра в формуле. Для получения действительно сущего результата буква заменяется цифрой, формула получает живую особность, уносится в мир событий, из которого вышла, движется и оканчивается практическим результатом, не уничтожая, с своей стороны, формулу. Выкладка исполнила ее практическим одействотворени-

ем, и, по-прежнему спокойная, царит в сфере всеобщего. Примеры из формальной науки всегда способствуют к уразумению, если только мы не будем забывать, что спекулятивная наука не только формальная, что ее формула исчерпывает и самое содержание. Итак, личность, разрешающаяся в науке, не безвозвратно погибла: ей надобно пройти чрез эту гибель, чтоб убедиться в невозможности ее. Личности надобно отречься от себя для того, чтоб сделаться сосудом истины, забыть себя, чтоб не стеснять ее собою, принять истину со всеми последствиями и в числе их раскрыть непреложное право свое на возвращение самобытности. Умереть в естественной непосредственности значит воскреснуть в духе, а не погибнуть в бесконечном ничего, как погибают буддисты. Эта победа над собою возможна и действительна, когда есть борьба; рост духа труден, как рост тела. То делается нашим, что выстрадано, выработано; что даром свалилось, тому мы цены не знаем. Игроки бросают деньги горстями. Стоило ли испытывать Авраама, если б ему ничего не стоило убить Исаака? Здоровая, сильная личность не отдается науке без боя; она даром не уступит шагу; ей ненавистно требование пожертвовать собою, но непреодолимая власть влечет ее к истине; с каждым ударом человек чувствует, что с ним борется мощный, против которого сил не довлеет: стеная, рыдая, отдает он по клочку все свое — и сердце и душу. Так Одиссей, погибая в волнах и цепляясь за скалы, прежде нежели спастся, орумянил их своею кровью и оставил на них куски своего мяса. Победитель беспощаден, требует всего — и побежденный отдает все; но победитель в самом деле не возьмет: на что ему человеческое? Человеку нужно было отдать, а не ему взять. Формалистам, вечно находящимся в мире отвлеченном, уступка личностью ничего не значит, и потому они через такую уступку ничего не приобретают; они забывают жизнь и деятельность; лиризм и страстность их удовлетворяются отвлеченным пониманием, оттого им не стоит ни труда, ни страданий пожертвовать личным благом своим. Им убить Исаака ничего не стоит. Формалисты науку изучают как нечто внешнее; до некоторой степени они могут усвоить себе ее остов, ее выражения, полагая, что они приняли в себя ее животворящую душу. Науку надобно прожить, чтоб не формально усвоить ее себе. Переломив-

ший ногу полнее и тверже всякого врача знает, какая именно боль при переломе. Прострадать феноменологию духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худеть от скептицизма, жалеть, любить, многое, много любить и все отдать истине — такова лирическая поэма воспитания в науку. Наука делается страшным вампиром, духом, которого нельзя прогнать никаким заклинанием, потому что человек вынул его из собственной груди и ему *некуда* скрыться. Тут надобно оставить приятную мысль благоразумно заниматься в известный час дня беседой с философами для образования ума и украшения памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они перед ним, писанные огненными буквами Даниила, и тянут куда-то вглубь, и сил нет противостоять чарующей силе пропасти, которая влечет к себе человека загадочной опасностью своей. Змея мечет банк; игра, холодно начинающаяся с логических общих мест, быстро развертывается в отчаянное состязание; все заповедные мечты, святые, нежные упования, Олимп и Аид, надежда на будущее, доверие настоящему, благословение прошедшему — все последовательно является на карте, и она, медленно вскрывая, без улыбки, без иронии и участия повторяет холодными устами: «убита». Что еще поставить? Все проиграно; остается поставить себя; понтер ставит и с той минуты игра меняется. Горе тому, кто не доигрался до последней талии, кто остановился на проигрыше: или он падает под тяжестью мучительного сомнения, снедаемый алканием горячей веры, или примет проигрыш за выигрыш и самодовольно примирится с своим увечьем; первое — путь к нравственному самоубийству, второе — к бездушному атеизму. Личность, имевшая энергию себя поставить на карту, отдается науке безусловно; но наука не может уже поглотить такой личности, да и она сама по себе не может уничтожиться во всеобщем — слишком просторно. Погубящий душу *найдет ее*. Кто так дострадался до науки, тот усвоил ее себе не токмо как остов истины, но как живую истину, раскрывающуюся в живом организме своем; он дома в ней, не дивится более ни своей свободе, ни ее свету; но ему становится мало ее примирения; ему мало блаженства спокойного созерцания и видения; ему хочется полноты упоения и страданий жизни; ему хочется *действования*,

ибо одно действие может вполне удовлетворить человека. Действование — сама личность. Когда Данте вступил в светлую область, в которой нет ни плача, ни воздыхания, когда он увидел бесплотных жителей рая, ему стало стыдно тени, бросаемой его телом. Ему, земному, не товарищи были эти светлые, эфирные, и он пошел опять в нашу юдоль, опираясь на свой посох бездомного изгнанника; но теперь уж он не потеряет тропинки, не упадет середь дороги от усталости и изнеможения. Он пережил свое становление, выстрадал его; он блуждал по жизни и прошел мучениями ада; он лишился чувств от вопля и стоны и раскрывал мутный, испуганный взор, вымаливая каплю утешения, вместо которого снова стоны, e nuovi tormenti, e nuovi tormentati¹. Но он *дошел* до Люцифера, и тогда поднялся через светлое чистилище в сферу вечного блаженства бесплотной жизни, узнал, что есть мир, в котором человек счастлив, отрешенный от земли, — и воротился в жизнь и понес ее крест.

Буддисты науки, так или сляк поднявшись в сферу всеобщего, из нее не выходят. Их калачом не заманишь в мир действительности и жизни. Кто им велит променять обширную храмину, в которой делать нечего, а почетно, — на нашу жизнь с ее бушующими страстями, где надобно работать, а иногда погибнуть? Одни тела, имеющие удельный вес, тяжеле воды и тонут; щепы и солома важно плавают по поверхности. Формалисты нашли примирение в науке, но примирение ложное; они больше примирились, нежели наука могла примирить; они не поняли, как совершено примирение в науке; вошедши с слабым зрением, с бедными желаниями, они были поражены светом и богатством удовлетворения. Им понравилась наука так же неосновательно, как дилетантам не понравилась. Они вообразили, что достаточно *знать*, примирение, а одействовывать его не нужно. Отступив от мира и рассматривая его с отрицательной точки, им не захотелось снова взойти в мир; им показалось достаточно *знать*, что хина лечит от лихорадки, для того чтоб вылечиться; им не пришло в голову, что для человека наука — момент, по обеим сторонам которого жизнь: с одной стороны — стремящаяся к нему — естественно-

¹ и новые мучения, и новые мученики (итал.).

непосредственная, с другой — вытекающая из него — сознательно-свободная; они не поняли, что наука — сердце, в которое втекает темная венозная кровь не для того, чтоб остаться в нем, а чтоб, сочетавшись с огненным началом воздуха, разлиться алой артериальной кровью. Формалисты подумали, что приехали в пристань в то время как в самом деле им следовало отчаливать; они сложили руки, узнав, в чем дело, т. е. когда последовательность заставляла их раскрыть руки. Для них знание заплатило за жизнь, и им ее больше не нужно: они узнали, что наука — цель самой себе, и вообразили, что наука — исключительная цель человека. Примирение науки — снова начатая борьба, достигающая примирения в практических областях; примирение науки — в мышлении, но «человек не токмо мыслящее, но и действующее существо»¹. Примирение науки всеобщее и отрицательное — оттого ей личность не нужна; положительное примирение может только быть в деянии свободном, разумном, сознательном. В тех сферах, в которых личность сохранила необходимость проявления ее в деяниях очевидца, в религии, например, не одно возношение лиц, но и нисхождение к лицам, сохранение их; в ней вера признана мертвою без дел, любовь поставлена выше всего. Отвлеченная мысль есть непрерывное произношение смертного приговора всему временному, казнь неправого, ветхого во имя вечного и непреходящего; оттого наука ежеминутно отрицает воображаемую неизбежность существующего. Деяние сознательной любви творчески создательно. Любовь есть всеобщее прощение, снисходительное, прижимающее к груди своей самое временное за след вечного, отпечатленного на нем. Но чистые отвлечения не имеют возможности существовать, противоположное находит место, вкрадывается и развивается в доме врага своего; отрицание науки чревато с первого появления положительным. Эта скрытая положительность освобождается любовью, струится во все стороны, как теплотвор, непрерывно стремясь найти условия осуществления и выхода из области всеобщего отрицания в область свободного деяния; когда наука достигает высшей

¹ Это сказал Гёте; Гегель в «Пропедевтике» (том XVIII, § 63) говорит: «Слово не есть еще деяние, которое выше речи». И германцы, стало, понимали это. (Прим. автора.)

точки, она естественно переходит самое себя. В науке мышление и бытие примирены; но условия мира деланы мыслию — полный мир в деянии. «Деяние есть живое единство теории и практики», — сказал слишком за две тысячи лет величайший мыслитель древнего мира¹. В деянии разум и сердце поглотились одействованием, исполнили в мире событий находившееся в возможности. Мироздание, история не вечные ли деяния? Деяние отвлеченного разума — мышление, уничтожающее личность; человек бесконечен в нем, но теряет себя; он вечен в мысли, но он — не он; деяние отвлеченного сердца — частный поступок, не имеющий возможности раскрыться во всеобщее; в сердце человек у себя — но преходящ. В разумном, нравственно свободном и страстно энергическом деянии человек достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире событий. В таком деянии человек вечен во временности, бесконечен в конечности, представитель рода и самого себя², живой и сознательный орган своей эпохи.

Истина, высказанная нами, далека от того, чтоб быть признанною. Могущественнейшие и величайшие представители современного человечества поняли мысль и деяние разное и односторонно. Степенная, глубоко чувствующая и созерцающая Германия определила себе человека как мышление, науку признала целью и нравственную свободу поняла только как внутреннее начало. Она никогда не имела вполне развитого смысла практической деятельности; обобщая каждый вопрос, она выходила из жизни в отвлечения и оканчивала односторонним разрешением. Савонарола, следуя инстинкту жизни романских народов, сделался главою политической партии³. Германские реформаторы, уничтожив в половине Германии католицизм, не выступили из области теологии и

¹ Аристотель. (Прим. автора.)

² Над этими выражениями посмеются наши люстихи; не будем так робки, пусть люстихи посмеются; на то они люстихи. Смех для них вознаграждение непониманью; из человеколюбия надобно им предоставить такой дешевой реванш. (Прим. автора.)

³ «Романские народы имеют характеристику резче германцев, они определенные цели свои исполняют с чрезвычайной твердостью, обдуманностью и ловкостью». «Philosophie der Geschichte», р. 422. Tome IX. <«Философия истории», с. 422, т. IX>. (Прим. автора.)

схоластических споров; фазы новой французской истории повторялись в Германии в области науки и отчасти искусства. Германический мир имеет сам в себе и противоположное направление, также отвлеченное и одно-стороннее. Англия одарена величайшим смыслом жизни и деятельности, но всякое деяние ее есть частное; общечеловеческое у британца превращается в национальное; всеобъемлющий вопрос сводится на местный. Англия морем отделена от человечества и, гордая своей замкнутостью, не раскрывает своей груди интересам материка, британец никогда не отступится от своей личности; он знает великую заслугу свою, то неприкосновенное величие, тот нимб уважения, которым он окружил именно идею личности. Заснувшие народы Италии и вновь выступающие испанцы не заявили никаких прав на поприще, о котором мы говорим. Остаются два народа, на которые невольно обращается взгляд. С одной стороны Франция — самым счастливым образом поставленная относительно европейского мира, сбегаящегося в ней, опираясь на край романизма, и соприкасающаяся со всеми видами германизма от Англии, Бельгии до стран, прилегающих Рейну; романо-германская сама, она как будто призвана примирить отвлеченную практичность средиземных народов с отвлеченной умозрительностью зарейнской, поэтическую негу солнечной Италии с индустриальной хлопотливостью туманного острова. Доселе Франция и Германия не понимали друг друга вполне; разное волновало их, разное влекло их, одни и те же предметы выражались иными языками; весьма недавно они узнали друг друга: их познакомил Наполеон, и после взаимных посещений, когда улеглись страсти вместе с пороховым дымом, они с уважением склонились друг перед другом и признали друг друга. Но истинного единения нет. Наука Германии упорно не переплывает Рейна; беглый ум француза предупреждает диалектическое развитие, хватает из середины какую-нибудь мысль и торопится осуществить ее. Грядущему предлежит разрешить: насколько Франция может быть органом примирения науки и жизни; впрочем, не надобно ошибаться, принимая слишком резко противоположность Франции и Германии: она часто совершенно внешняя. Франция своим путем дошла до заключений, очень близких к заключениям науки германской, но не умеет перенести их на все-

общий язык науки, так, как Германия не умеет языком жизни повторить логику. И сверх того, наука германская искони пользовалась Францией. Не говоря о Декарте, влияние энциклопедистов было очень сильно; ей никогда не достигнуть бы своей зрелости без фактического обилия разработанного по всем отраслям во Франции. С другой стороны, может, тут раскроется великое призвание бросить нашу северную гривну в хранилищу человеческого разума; может, мы, мало жившие в былом, явимся представителями действительного единства науки и жизни, слова и дела. В истории поздно приходящим — не кости, а сочные плоды. В самом деле, в нашем характере есть нечто, соединяющее лучшую сторону французов с лучшей стороной германцев. Мы несравненно способнее к наукообразному мышлению, нежели французы, и нам решительно невозможна мещански-филистерская жизнь немцев; в нас есть что-то gentlemanlike¹, чего именно нет у немцев, и на челе нашем проступает след величавой мысли, как-то не сосредоточивающейся на челе француза.

Но не будем забегать в будущее и возвратимся. Философы Германии как-то провидели, что деяние, а не наука — цель человека. Это была часто гениальная пророческая непоследовательность, насильно врывающаяся в бесстрастные и суровые логические построения. Сам Гегель более намекнул, нежели развил мысль о деянии. Это дело не его эпохи, — дело эпохи, им порожденной. Гегель, раскрывая области духа, говорит о искусстве, науке и забывает практическую деятельность, вплетенную во все события истории. Но ряд мыслителей Германии, замыкающийся Гегелем, не должно ставить на одну доску с настоящими формалистами. Они не имели иных требований, кроме потребности ведения, но это было своевременно; они труженически разработали для человечества путь науки; для них примирение в науке было наградой; они имели право, по историческому месту своему, удовлетвориться во всем; они были призваны свидетельствовать миру о совершившемся самопознании и указать путь к нему: в этом состояло их деяние. Мы совсем не в том положении; для нас жизнь в отвлеченно-всеобщих сферах — несвоевременность, личная охота. Всякая восходящая сфера имеет притяжение на исключи-

¹ от джентльмена (англ.).

тельное господство и безусловное значение; вера в него — главнейшее условие успеха, но дальнейшее развитие во времени необходимо переходит мнимо безусловную сферу, и эта необходимость перехода гораздо с большей справедливостью может казаться безусловной. Гегель чрезвычайно глубокомысленно сказал: «Понять то, что есть — задача философии, ибо то, что есть — разум. Как всякая личность — произведение своего времени, так философия есть в мыслях схваченная эпоха; нелепо предположить, что какая-нибудь философия переходила свой современный мир»¹. Задача реформационного мира была понять, но понятием не замыкается воля. Философы забыли о положительной деятельности. Беды в этом не было. Практические сферы вовсе не лишены языка; они заявили свой голос, когда время пришло. Оно пришло быстро; человечество несется теперь, как по железной дороге. Годы — века. Едва прошло десять лет после смерти Гёте и Гегеля, величайших представителей искусства и науки, как самый Шеллинг, увлеченный новым направлением, стал делать совершенно иные требования, нежели с которыми явился проповедовать науку в начале XIX века. Ренегатство Шеллинга — во всяком случае событие важное и многозначительное. Шеллинг более обладает поэтическим созерцанием, чем диалектикой, и именно как *vates*² он испугался океана всеобщего, готовившегося поглотить весь поток умственной деятельности; он пошел вспять, не сладивши с последствиями своих начал, и вышел из современности, указывая на больное место. Во всей германской атмосфере носятся новые вопросы о жизни и науке, это — очевидный факт в журналистике, в изящных произведениях, в книгах. Забытая в науке личность потребовала своих прав, потребовала жизни, трепещущей страстями и удовлетворяющейся одним творческим, свободным деянием. После отрицания, совершенного в сфере мышления, она захотела отрицаний в других сферах: необходимость личности обличилась. Человек требует ее, а наука, взявшая все, признает это право; она не удерживает, она благо-

¹ «Philos. des Rechts», Vorrede. Курсивом напечатанное подчеркнуто в тексте. <«Философия права», Предисловие (нем.)>. (Прим. автора.)

² поэт (лат.).

словляет в жизнь личную, в жизнь свободного деяния во имя абсолютной безличности.

Да, наука есть царство безличности, успокоенное от страстей, почившее в величавом самопознании, озаренное всепроникающим светом разума — царство идеи. Не мертвое, не остывшее, как труп, но покойное в самом движении своем, как океан. В науке сонм олимпийцев, а не люди; матери, к которым ходил Фауст. В науке истина, облеченная не в вещественное тело, а в логический организм, живая архитектурной диалектического развития, а не эпопеей временного бытия; в ней закон — мысль исторгнутая, спасенная от бурь существования, от возмущений внешних и случайных; в ней раздастся симфония сфер небесных, и каждый звук ее имеет в себе вечность, потому что в нем была необходимость, потому что случайный стон временного не достигает так высоко. Мы согласны с формалистами: наука выше жизни, но в этой высоте свидетельство ее односторонности; конкретно истинное не может быть ни выше, ни ниже жизни, оно должно быть в самой средоточии ее, как сердце в середине организма. Оттого, что наука выше жизни, ее область отвлеченна, ее полнота не полна. Живая целостность состоит не из всеобщего, снявшего частное, но из всеобщего и частного, взаимно друг в друга стремящихся и друг от друга отторгающихся; ее нет ни в каком моменте, ибо все моменты — ее; как бы ни казались самобытны и исчерпывающи иные определения, они тают от огня жизни и вливаются, теряя односторонность свою, в широкий, всепоглощающий поток... Разум сущий прояснил для себя в науке, свел свои счета с прошедшим и настоящим, — но осуществиться будущему надобно не в одной всеобщей сфере. В ней будущности, собственно, нет, потому что она предузнана как неминуемое логическое последствие, но такое осуществление бедно своей отвлеченностью; мысль должна принять плоть, сойти на торжище жизни, раскрыться со всею роскошью и красотой временного бытия, без которого нет животрепещущего, страстного, увлекательного деяния.

Warum bin ich vergänglich, o Zeus? so fragte die Schönheit.
Macht' ich doch, sagte der Gott, nur das Vergängliche schön¹.

Goethe.

¹ О Зевс, почему я преходяща? — спросила красота. — Только преходящее я сделал прекрасным, — ответил бог. Гётте (нем.).

Наука не только создала свою самозаконность, но себя создала законом мира; переведя его в мысль, она отрелась от него как от сущего, улетучила его своим отрицанием, против дыхания которого ничто фактическое не состоятельно. Наука разрушает в области положительно сущего и созидает в области логики — таково ее призвание. Но человек призван не в одну логику — а еще в мир социально-исторический, нравственно свободный и положительно-деятельный; у него не одна способность отрешающегося пониманья, но и воля, которую можно назвать разумом положительным, разумом творящим; человек не может отказаться от участия в человеческом деянии, совершающемся около него; он должен действовать в своем месте, в своем времени — в этом его всемирное призвание, это его *conditio sine qua non*. Личность, выходящая из науки, не принадлежит более ни частной жизни исключительно, ни исключительно всеобщим сферам; в ней сочетались частное и общее в единичности гражданского лица. Примирившись в науке — она жаждет примирения в жизни; но для этого надобно творчески одействовотворить нравственную волю во всех практических сферах.

Вина буддистов состоит в том, что они не чувствуют потребности этого выхода в жизнь — действительного осуществления идеи. Они примирение науки принимают за всяческое примирение, не за повод к действию, а за совершенное, замкнутое удовлетворение. А там хоть трава не расти за переплетом книги. Они всё снесут за пустоту всеобщности. Буддисты индийские стремятся *ценою бытия* купить свободу в Будде. Будда для них — именно отвлеченная бесконечность, ничего. Наука покорила человеку мир, больше — покорила историю не для того, чтоб он мог отдыхать. Всеобщность, удерживаемая в своей отвлеченности, всегда ведет к сонному уничтожению деятельности — таков индийский кветизм. — Гранитный мир событий, подвергаясь огненной струе отрицания, не имеет силы противостоять и низвергается растопленной каскадой в океан науки. Но человек должен переплыть океан для того, чтоб снова начать действие в ином свете, в обетованной Атлантиде. Начать не инстинктом, не по внешним наталкиваниям, не с скорбным метаньем во все стороны, не с темным предчувствием, а с полной нравственной свободой. Человек не может примирить-

ся, пока все окружающее не приведено в согласие с ним. Формалисты довольствуются тем, что выплыли в море, качаются на поверхности его, не плывут никуда, и оканчивают тем, что обхватываются льдом, не замечая того; наружно для них те же стремящиеся прозрачные волны — но в самом деле это мертвый лед, украсивший очертания движения, живая струя замерла сталактитом, все окоченело. Формалисты сами приняли характер льда и нанесли ужасный вред науке, говоря ее языком и высказывая безжалостные приговоры свои, от которых веет полярной стужей; весь блеск их речи — блеск льда, водяной, мертвый, по которому луч солнца скользит, но не греет, который скорее уничтожится, нежели примет теплоту. Слушавшие содрогнулись, заметив отсутствие любви у большей части берлинских и иных корифеев формализма, этих *талмудистов* новой науки. Взяв одни буквы, одни слова, они ими заглушили всякое сострадание, всякое теплое сочувствие. Они намеренно, с усилиями поднялись на точку равнодушия ко всему человеческому, считая ее за истинную высоту; им не всегда надобно верить, что они без сердца, — они часто прикидываются такими (нового рода *captatio benevolentiae*¹). Формальные разрешения принимаются ими всегда и везде за действительные. Им казалось, что личность — дурная привычка, от которой пора отстать; они проповедовали примирение со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словом, все, что ни встретится на улице, *действительным* и, следовательно, имеющим право на признание; так поняли они великую мысль, «что все действительное разумно»; они всякий благородный порыв клеймили названием *Schönseeligkeit*², не усвоив себе смысла, в котором слово это употреблено их учителем³. Если присовокупим к этим результатам напыщенный и нелепый язык, надменность ограниченности, то отдадим справедливость верному такту общества, смотревшего с недоверием на этих *фигляров* науки. Гегель где только мог просил, умо-

¹ снискание благоволения (лат.).

² прекраснотушие (нем.).

³ «Есть более полный мир с действительностью, доставляемый познанием ее, нежели отчаянное сознание, что временное дурно или неудовлетворительно, но что с ним следует примириться, потому что оно лучше не может быть». «Philos. des Rechts». <«Философия права» (нем.)>. (Прим. автора.)

лял опасаться формализма¹, доказывал, что самое истинное определение, взятое в его завинченности, буквальности, доведет до бед, бранился наконец, — ничего не помогало. Он его-то фразы и свинтили, его-то и поняли буквально. Они не могут привыкнуть к вечному движению истины, не могут раз навсегда признать, что всякое положение отрицается в пользу высшего и что только в преемственной последовательности этих положений, борений и снятий проторгается живая истина, что это ее змеиные шкуры, из которых она выходит свободнее и свободнее. Они (несмотря на то, что толкуют о чем-то подобном) не могут привыкнуть, что в развитии науки не на что опереться, что одно спасение в быстром, стремительном движении. Они цепляются за каждый момент как за истину; какое-нибудь одностороннее определение принимают за все определения предмета; им надобно сентенции, готовые правила; пробравшись до станции, они — смешно доверчивые — полагают всякий раз, что достигли абсолютной цели и располагаются отдыхать. Они строго держатся текста — и оттого не могут усвоить себе его. Мало понимать то, что сказано, что написано; надобно понимать то, что светится в глазах, что веет между строк, надобно так усвоить себе книгу, чтоб выйти из нее. Так понимает *живущий* науку; понимание есть обличение однородности, которая предсуществует. Наука живому передается жизненно, формалисту — формально. Посмотрите на Фауста и его фамулу-са: Фаусту наука — жизненный вопрос «быть или не быть»; он может глубоко падать, унывать, впадать в ошибки, искать всяких наслаждений, но его натура глубоко проникает за кору внешности, его ложь имеет более истины в себе, нежели плоская, непогрешительная правда Вагнера. Трудное Фаусту легко Вагнеру. Вагнер удивляется, как Фауст не понимает простых вещей. Надо иметь много ума, чтоб не понять иного. Вагнера наука не мучит, напротив — утешает, успокаивает, отраду в скорби подает. Он покой свой купил на медные гроши, оттого, что он не беспокоился собственно никогда. Где он видел единство, примирение, разрешение и улыбался,

¹ Например, во всем предисловии в «Феноменологии». (Прим. автора.)

там Фауст видел расторжение, ненависть, усложнившийся вопрос — и страдал.

Каждый занимающийся *проходит* через формализм, это один из моментов становления; но имеющий живую душу проходит, а формалист остается; для одного формализм ступень, для другого цель. Так природа, достигая совершенства своего в человеке, останавливается на каждой попытке, увековечивая ее родом, вечно свидетельствующим о пройденном моменте, который для него высшая, единая форма бытия. Но ни природа, ни наука не могли удовлетвориться, не дойдя до последних следствий, заключенных в их понятии. Природа перешла себя в человеке или наступила себе на грудь. Наука нынче представляет то же зрелище: она достигла высшего призвания своего; она явилась солнцем всеосвещающим, разумом факта и, следственно, оправданием его; но она не остановилась, не села отдыхать на троне своего величия; она перешла свою высшую точку и указывает путь из себя в жизнь практическую, сознавая, что в ней не весь дух человеческий исчерпан, хотя и весь понят. Она этим погружением в жизнь не потеряет своего трона; однажды побежденное в этих сферах — побеждено навеки; но и человек не потеряет в ней остальных обитателей жизни. Правоверные буддисты больше самой науки за науку, они решились умереть, защищая единодержавное владычество ее над жизнью. «Наука есть наука, и единый путь ее — абстракция», это стих их Корана. Они на все отвечают громкими словами, и вместо того, чтоб наполнить в самом деле пропасти, делящие сферы отвлеченные от действительных, противоречия в жизни и мышлении, прикрывают их легкими тканями искусственной диалектической *фиоритуры*. Растягивать все сущее на одр формализма не трудно для тех, кто не внемлет никакому протесту со стороны сущего. Профаны дивятся иногда, как самые странные факты, чрезвычайные явления легко покоряются у формалистов общим законам, — дивятся — а между тем чувствуют, что при этом сделан какой-то фокус — изумительный, но неприятный для того, кто ищет добросовестного и дельного ответа. Формалистов, с грехом пополам, можно оправдать только тем, что они себя первых обманывают своими фокусами. Вольтер рассказывает, как доктор уверял зрячего, что он слеп, доказывая ему, что неразумный факт его зрения

нисколько не противоречит его выводу и что он все-таки принимает его за слепого. Так новые буддисты разговаривали с германцами до тех пор, пока, несмотря на всю тихую и добрую натуру свою, немцы догадались, в чем дело. А дело в том, что факты им и не покоряются вовсе. Они, как китайский император, считают себя владетелями всего земного шара, что однако ж не мешает всему земному шару, за исключением Китая, вовсе не зависеть от него.

Дилетанты, находящиеся вне науки, могут иногда образумиться и в самом деле заняться наукой, по крайней мере могут *оставаться в подозрении*, что с ними случится такой переворот. Формалистов в этом никак заподозрить нельзя: они удовлетворились, покойны, дальше идти не могут, они не знают и не могут себе представить, что есть дальше. Неизлечимо отчаянное положение их состоит в этом чрезвычайном довольстве; они со всем примирились; их взгляд выражает спокойствие немного стеклянное, но не возмущаемое изнутри; им осталось почитать и наслаждаться, прочее все сделано или сделается само собою. Им удивительно, о чем люди хлопочут, когда все объяснено, сознано и человечество достигло *абсолютной* формы бытия¹, что доказано ясно тем, что современная философия есть абсолютная философия, а наука всегда является тождественною эпохе — но как ее результат, т. е. по совершении в бытии. Для них такое доказательство неопровержимо. Фактами их не смудишь — они пренебрегают ими. Спросите их, отчего при этой абсолютной форме бытия в Манчестере и Бирмингеме работники мрут с голоду или прокармливаются настолько, насколько нужно, чтоб они не потеряли сил. Они скажут, что это случайность. Спросите их, как они слово абсолютное привязывают к развивающимся событиям, к сферам, которые своим движением вперед доказывают свою неабсолютность. «Да так сказано в таком-то и таком-то параграфе». Для них и это доказательство, а в каком смысле принято слово в этих параграфах — об этом нечего и хлопотать. Раскрыть глаза формалистов трудно; они решительно, как буддисты, мертвое уничтоже-

¹ Это не выдумка, а сказано в Байергофферовой «Истории философии» («Die Idee und Geschichte der Philosophie» von Bayerhoffer. Leipzig, 1838. Последняя глава). (Прим. автора.)

ние в бесконечном считают свободой и целью — и чем выше поднимаются в морозные сферы отвлечений, отрываясь от всего живого, тем покойнее себя чувствуют. Так эгоисты доставляют себе своего рода спокойное счастье, заглушая все человеческие чувства, удаляя от себя все неприятное, огорчительное. Но для эгоизма, как для формализма, надобно родиться. Всякий может отвернуться от картины страданий, но не всякий перестает стонать от этого. Гегель (под фирмою которого идут все нелепости формалистов нашего времени, так, как под фирмою Фарина продается одеколон, делаемый на всех точках нашей планеты) вот как говорит о формализме¹: «Нынче главный труд состоит не в том, чтоб очистить от чувственной непосредственности лицо и развить его в мыслящую сущность, но более в противоположном, в одействовании всеобщего чрез снятие отверделых, определенных мыслей. Но гораздо труднее сделать текучими твердые мысли, нежели чувственную вещественность...» Формализм принимает отвлеченную всеобщность за безусловное; он уверяет, что быть не удовлетворенным ею — доказывает неспособность подняться на безусловную точку зрения и держаться на высоте ее. Он все приписывает всеобщей идее в ее недействительной форме и принимает за спекулятивность бросанье и низвержение всего в пропасть этой страшной пустоты. Рассмотрение чего-либо сущего в безусловном сводится на то, что в нем все одинаково, и безусловное делается таким образом ночью, в которой все коровы черные. Если некогда людям показалось возмутительно принять безусловное за субстанцию, то долею основа этого отращения лежала в инстинктуальном прозрении, что самопознание потеряно, а не сохранено в субстанции; обратное воззрение, останавливающее мышление как мышление, всеобщее как таковое, есть опять безразличная, неподвижная субстанциальность. Даже если мышление соединяет бытие субстанции с собою и непосредственное воззрение (*das Anschauen*) постигает как мышление, то и тут все зависит от того, не впадает ли это умозре-ние в ленивое однообразие и не представится ли действительность недействительным образом. В философии

¹ «Phenomenologie», Vorrede. <«Феноменология». Предисловие (нем.)> (Прим. автора).

права Гегель говорит: «Между самопознанием и действительностью всего чаще становится отвлеченность, не освободившаяся в понятие». Читая эти и подобные места, с изумлением спрашиваешь, как добрые люди всю жизнь читают Гегеля и не понимают. Человек читает книгу, но понимает собственно то, что в его голове. Это знал тот китайский император, который, учившись у миссионера математике, после всякого урока благодарил, что он напомнил ему забытые истины, которые он не мог не знать, будучи *par métier*¹ всезнающим сыном неба. В самом деле так. Читая Гегеля, только то понимают, что он напоминает, то, что неразвито предсуществовало чтению. Дело книги, собственно, акушерское дело — способствовать, облегчить рождение, но что рождается, за это акушер не отвечает. Не надобно, впрочем, думать, чтоб Гегель сам не впадал много раз в немецкую болезнь, состоящую в признании ведения последней целью всемирной истории. Он это где-то прямо сказал². Мы говорили в третьей статье о том, что Гегель часто непоследователен своим началам. Никто не может стать выше своего времени. В нем наука имела величайшего представителя; доведя ее до крайней точки — он нанес ее могуществу как исключительному, может, нехотя, сильный удар, ибо каждый шаг вперед долженствовал быть шагом в практические сферы. Ему лично довлело знание, и потому он не сделал этого шага. Наука была для германореформационного мира то, что искусство для эллинского. Но ни искусство, ни наука в своей исключительности не могли служить полным успокоением и ответом на все требования. Искусство представило, наука поняла. Новый век требует совершить понятое в действительном мире событий. Гениальная натура Гегеля непрерывно порывала путы, накладываемые духом времени, воспитанием, привычкой, образом жизни, званием профессора. Посмотрите, как торжественно разворачивается у него философия права; не фразу, не выражение намерены мы указать, а внутреннюю настоящую мысль, душу книги. Области отвлеченного права разрешаются, снимаются миром нравственности, царством норм, правом, просветленным для себя. Но Гегель этим не оканчивает, а устремляется с вы-

¹ по должности (франц.).

² Помнится, в «Истории философии». (Прим. автора.)

соты идеи права в поток всемирной истории, в океан истории. Наука права совершается, венчается, выходит из себя. Процесс развития личности тот же самый. Мутные индивидуальности, вырабатываясь из естественной непосредственности, туманом поднимаются в сферу всеобщего и, просветленные солнцем идеи, разрешаются в бесконечной лазури всеобщего; но они не уничтожаются в ней; приняв в себя всеобщее, они низвергаются благодатным дождем, чистыми кристальными каплями на прежнюю землю. Все величие возвращенной личности состоит в том, что она сохранила оба мира, что она род и неделимое вместе, что она стала тем, чем родилась, или, лучше, к чему родилась — сознательную связью обоих миров, что она постигла свою всеобщность и сохранила единичность. Развитая таким образом личность самое ведение принимает за непосредственность высшего порядка, а не за совершение судеб. Возвращение есть диалектическое движение столь же необходимое, как восхождение. Пребывание во всеобщем — покой, т. е. смерть; жизнь идеи есть «вакхическое опьянение, в которое все увлечено, непрерывное возникновение и уничтожение, никогда не останавливающееся и спокойное только в этом движении». Еще раз, всеобщее не есть полная истина, а одна фаза ее, в которой частное распустилось, а процесс перехода уже совершился. Всеобщее представляет довременный или послевременный покой, но идея не может пребывать в покое, она сама собою выходит из области всеобщего в жизнь.

Полное *trio*, согласное и величественное, звучит только во всемирной истории, только в ней живет идея полнотою жизни; вне ее — отвлеченности, стремящиеся к полноте, алкающие друг друга. Непосредственность и мысль — два отрицания, разрешающиеся в деянии истории. Единое для того расторгнулось в противоположное, чтоб соединиться в истории. Природа и логика сняты и осуществлены ею. В природе все частно, индивидуально, врозь суще, едва обнято вещественною связью; в природе идея существует телесно, бессознательно, подчиненная закону необходимости и влечениям темным, не снятым свободным разумением. В науке совсем напротив: идея существует в логическом организме, все частное заморено, все проникнуто светом сознания, скрытая мысль, волнующая и приводящая в движение природу, освобож-

даясь от физического бытия развитием его, становится открытой мыслию науки. Как бы полна ни была наука, ее полнота отвлеченна, ее положение относительно природы отрицательно; она это знала со времен Декарта, ясно противопоставившего мышление факту, дух — природе. Природа и наука — два выгнутые зеркала, вечно отражающие друг друга; фокус, точку пересечения и сосредоточенности между оконченными мирами природы и логики, составляет личность человека. Природа, собираясь на каждой точке, углубляясь более и более, оканчивает человеческим я; в нем она достигла своей цели. Личность человека, противопоставляя себя природе, борясь с естественною непосредственностью, разворачивает в себе родовое, вечное, всеобщее, разум. Совершение этого развития — цель науки. Вся прошедшая жизнь человечества, сознательно и бессознательно, имела идеалом стремление достигнуть разумного самопознания и поднятия воли человеческой к воле божественной; во все времена человечество стремилось к нравственно благому, свободному деянию. Такого деяния в истории не было и не могло быть. Ему должна была предшествовать наука; без ведения, без полного сознания нет истинно свободного деяния; но полного сознания в прошедшей жизни человеческой не было. Наука, приводя к нему, оправдывает историю и с тем вместе отрекается от нее; истинное деяние не требует для своего оправдания предыдущего события; история для него почва, непосредственность; все предшествующее необходимо в генезическом смысле, но самобытность и самоозаконение грядущее столько же будет иметь в себе, как в истории. Грядущее отнесется к былому, как совершеннолетний сын к отцу; для того, чтоб родиться, для того, чтоб сделаться человеком, ему нужен воспитатель, ему нужен отец; но, ставши человеком, связь с отцом меняется — делается выше, полнее любовью, свободнее. Лессинг назвал развитие человечества воспитанием — выражение неверное, если взять его безусловно, но в известных пределах оно удачно. В самом деле, человечество доселе имеет ясные признаки несовершеннолетия; оно мало-помалу воспитывается в сознание. Единство этой педагогики теряется для неглубокого взгляда за пышностью и многообразием, за роскошью творчества, за преизбытком форм и сил, по-видимому, ненужных и противоборствующих. Но таков инстин-

ктуальный путь развития естественного, бессознательно-го к сознанию, к себяобладанию. Обратимся к природе: неясная для себя, мучимая и томимая этой неясностью, стремясь к цели ей неизвестной, но которая с тем вместе есть причина ее волнения,— она тысячью формами домогается до сознания, одействовворяет все возможности, бросается во все стороны, толкается во все ворота, творя бесчисленные вариации на одну тему. В этом поэзия жизни, в этом свидетельство внутреннего богатства. Каждая степень развития в природе есть вместе и цель, относительная истина; она — звено в цепи, но кольцо для себя. Влекомая непонятной, великой тоской, природа возвышается от формы в форму; но, переходя в высшее, она упорно держится в прежней форме и развивает ее до последней крайности, как будто все спасение в этой форме. И в самом деле, достигнутая форма—великая победа, торжество и радость; она всякий раз — высшее, что есть. Природа выступает из нее во все стороны¹. Оттого так тщетно искали вытянуть все произведения ее в мертвую прямолинейность; у ней нет правильной таблицы о рангах. Произведения природы не составляют одну лестницу; нет — они представляют лестницу и то, что идет по лестнице; каждая ступень — вместе и средство, и цель, и причина. *Idemque rerum naturae opus et rerum ipsa natura*², как сказал Плиний. История человечества — продолжение истории природы; многообразие, разнородность, встречаемые в истории, поразительны: область стала шире, вопрос выше, средства богаче, задняя мысль яснее — как же не усложниться путям? Развитие с каждым шагом становится глубже и с тем вместе сложнее; всего проще камень, спокойно отдыхающий на начальных ступенях. Где начинается сознание, там начинается нравственная свобода; каждая личность одействовворяет по-своему призвание, оставляя печать своей индивидуальности на событиях. Народы — эти колоссальные действующие лица всемирной драмы — исполняют дело всего человечества, как свое дело, придавая тем художническую оконченность и жизненную пол-

¹ Великая мысль Бюффона: «La nature ne fait jamais un pas qui ne soit en tous sens». <Природа не делает ни одного шага, который не был бы направлен во все стороны (франц.).> (Прим. автора.)

² Создание природы вещей и сама природа вещей — одно и то же (лат.).

ноту деяниям. Народы представляли бы нечто жалкое, если б они свою жизнь считали только одной ступенью <к> неизвестному будущему; они были бы похожи на носильщиков, которым одна тяжесть ноши и труд пути, а руно несомое — другим. Природа не поступает так с своими бессознательными детьми — как мы заметили; тем более в мире сознания не может быть степени, которая не имела бы собственного удовлетворения. Но дух человечества, нося в глубине своей непреложную цель, вечное домогательство полного развития, не мог успокоиться ни в одной из былых форм; в этом тайна его трансценденции, его перехватывающей личности (*übergreifende Subjectivität*). Не забудем, однако, что каждая из былых форм имела содержанием его, и не было духу иной формы, как той, за грани которой он перешел, только потому, что он дорос до нее, был ею и перерос ее. История деяния духа — так сказать, личность его, ибо «он есть то, что делает»¹ — стремление безусловного примирения, осуществление всего, что есть за душою, освобождение от естественных и искусственных пут. Каждый шаг в истории, поглощая и осуществляя весь дух своего времени, имеет свою полноту — одним словом — личность, кипящую жизнью. Народы, ощущая призвание выступить на всемирно-историческое поприще, услышав глас, возвещавший, что час их настал, проникались огнем вдохновения, оживали двойною жизнью, являли силы, которые никто не смел бы предполагать в них и которые они сами не подозревали; степи и леса обстроивались всеями, науки и искусства расцветали, гигантские труды совершались для того, чтоб приготовить караван-сарай грядущей идее, а она — величественный поток — текла далее и далее, захватывая более и более пространства. Но эти караван-сарай — не внешние гостиницы идеи, а ее плоть, без которой она не могла бы осуществиться, — чрево матери, принявшее прошедшее для будущего, но и живое своею жизнью; каждая фаза исторического развития имела сама в себе цель и, следовательно, награду и удовлетворение. Для греческого мира его призвание было безусловно; за пределами своего мира он ничего не видал и не мог видеть, ибо тогда не

¹ «Philos. des Rechts». <«Философия права» (нем.)> (Прим. автора.)

было еще будущего. Будущее — возможность, а не действительность: его, собственно, нет. Идеал для всякой эпохи — она сама, очищенная от случайности, преображенное созерцание настоящего. Разумеется, чем всеобъемлемее и полнее настоящее, тем всемирнее и истиннее его идеал. Такова наша эпоха. Народы, грядя на совершение судеб человечества, не знали аккорда, связывавшего их звуки в единую симфонию; Августин на развалинах древнего мира возвестил высокую мысль о веси господней, к построению которой идет человечество, и указал вдали торжественную субботу успокоения. Это было поэтико-религиозное начало философии истории; оно очевидно лежало в христианстве, но долго не понимали его; не более, как век тому назад, человечество подумало и в самом деле стало спрашивать отчета в своей жизни, провидя, что оно недаром идет и что биография его имеет глубокий и единый всесвязывающий смысл. Этим совершеннолетним вопросом оно указало, что воспитание окончивается. Наука взялась отвечать на него; едва она высказала ответ, явилась у людей потребность выхода из науки — второй признак совершеннолетия. Но для того, чтоб своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полноте свое призвание; пока хоть одна твердая точка остается не покоренною самопознанием — внешнее будет противодействовать. Число неподвижных звезд становится менее и менее, но они еще есть. Воспитание предполагает внесущую, готовую истину; с того мгновения, как человек поймет истину, она будет у него в груди, и тогда дело воспитания исчерпано — дело сознательного деяния начнется. Из врат храма науки человечество выйдет с гордым и поднятым челом, вдохновенное сознанием: *omnia sua secum portans*¹ — на творческое создание веси божией. Примирение науки ведением сняло противоречия. Примирение в жизни снимет их блаженством². Примирение в жизни есть плод другого древа эдемского, его надобно было заслужить Адаму в кровавом поте, в тяжких трудах — и он заслужил его.

Но как будет это? Как именно — принадлежит буду-

¹ все свое неся с собой (лат.).

² При этом невольно вспомнилась великая мысль Спинозы: «*Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus*». «Счастье не награда за доблесть, а сама доблесть (лат.)». (Прим. автора.)

щему. Мы можем предузнавать будущее, потому что мы — посылки, на которых оснуется его силлогизм, — но только общим, отвлеченным образом. Когда настанет время, молния событий раздерет тучи, сожжет препятствия, и будущее, как Паллада, родится в полном вооружении. Но вера в будущее — наше благороднейшее право, наше неотъемлемое благо; веруя в него, мы полны любви к настоящему.

И эта вера в будущее спасет нас в тяжкие минуты от стчаяния; и эта любовь к настоящему будет жива благими деяниями.

23 марта, 1843.